

Я родился в 1632 году в городе Йорке в почтенной семье, хотя и не коренного происхождения: мой отец приехал из Бремена и поначалу обосновался в Гулле. Нажив торговлей хорошее состояние, он оставил дела и переселился в Йорк. Здесь он женился на моей матери, которая принадлежала к старинному роду, носившему фамилию Робинзон. Мне дали имя Робинзон, отцовскую же фамилию Крейцнер англичане, по обычаю своему коверкать иностранные слова, переделали в Крузо. Со временем мы и сами стали называть себя и подписываться Крузо; так же всегда звали меня и мои знакомые.

У меня было два старших брата. Один служил во Фландрии, в английском пехотном полку, том самом, которым когда-то командовал знаменитый полковник Локхарт; брат дослужился до чина подполковника и был убит в сражении с испанцами под Дюнкерком. Что случилось со вторым моим братом — не знаю, как не знали отец и мать, что случилось со мной.

Так как в семье я был третьим сыном, то меня не собирались пускать по торговой части, и голова моя с юных лет была набита всякими бреднями. Отец мой, находясь уже в преклонном возрасте, позаботился, чтобы я получил вполне сносное образование

в той мере, в какой его могли дать домашнее воспитание и бесплатная городская школа. Он прочил меня в юристы, но я мечтал о морских путешествиях и слышать не хотел ни о чем другом. Эта страсть моя к морю оказалась столь сильна, что я пошел против воли отца — более того, против его запретов, — и пренебрег уговорами и мольбами матери и друзей; казалось, было что-то роковое в этом природном влечении, толкавшем меня к злоключениям, которые выпали мне на долю.

Отец мой, человек степенный и умный, догадываясь о моих намерениях, предостерег меня серьезно и основательно. Прикованный подагрой к постели, он позвал меня однажды утром в свою комнату и с жаром принялся увещевать. Какие другие причины, спросил он, кроме склонности к бродяжничеству, могут быть у меня для того, чтобы покинуть отчий дом и родную страну, где я могу прилежанием и трудом увеличить свой достаток и жить в довольстве и с приятностью? Отчизну покидают в погоне за приключениями, сказал он, либо те, кому нечего терять, либо честолюбцы, жаждущие достичь еще большего; одни пускаются в предприятия, выходящие из рамок обыденной жизни, ради наживы, другие — ради славы; но подобные цели для меня или недоступны, или недостойны; мой удел — середина, то есть то, что можно назвать высшею ступенью скромного существования, а оно, как он убедился на многолетнем опыте, лучше всякого другого на свете и более всего для счастья приспособлено, ибо человека не гнетут нужда и лишения, тяжкий труд и страдания, выпадающие на долю низших классов, и не сбивают с толку роскошь, честолюбие, чванство и зависть высших классов. Насколько приятна

такая жизнь, сказал он, можно судить хотя бы по тому, что все остальные ей завидуют: ведь и короли нередко жалуются на горькую участь людей, рожденных для великих дел, и сетуют, что судьба не поставила их между двумя крайностями — ничтожеством и величием, и даже мудрец, который молил небо не посылать ему ни бедности, ни богатства, тем самым свидетельствовал, что золотая середина есть пример истинного счастья.

Стоит только понаблюдать, уверял меня отец, и я пойму, что все жизненные невзгоды распределены между высшими и низшими классами и что реже всего их терпят люди умеренного достатка, не подверженные стольким превратностям судьбы, как высшие и низшие круги человеческого общества; даже от недугов, телесных и душевных, они защищены больше, чем те, у кого болезни порождаются либо пороками, роскошью и всякого рода излишествами, либо изнурительным трудом, нуждой, скудной и дурной пищей, и все их недуги не что иное, как естественные последствия образа жизни. Среднее положение в обществе наиболее благоприятствует расцвету всех добродетелей и всех радостей бытия: мир и довольство — слуги его; умеренность, воздержанность, здоровье, спокойствие духа, общительность, всевозможные приятные развлечения, всевозможные удовольствия — его благословенные спутники. Человек среднего достатка проходит свой жизненный путь тихо и безмятежно, не обременяя себя ни физическим, ни умственным непосильным трудом, не продаваясь в рабство из-за куска хлеба, не мучаясь поисками выхода из запутанных положений, которые лишают тело сна, а душу — покоя, не страдая от зависти, не сгорая втайне ог-

нем честолюбия. Привольно и легко скользит он по жизни, разумным образом вкушая сладости бытия, не оставляющие горького осадка, чувствуя, что он счастлив, и с каждым днем постигая это все яснее и глубже.

Затем отец настойчиво и чрезвычайно ласково стал упрашивать меня не ребячиться, не бросаться очертя голову навстречу бедствиям, от которых сама природа и условия жизни, казалось, должны меня оградить. Ведь я не поставлен в необходимость работать из-за куска хлеба, а он приложит все старания, чтобы вывести меня на ту дорогу, которую советует мне избрать; если же я окажусь неудачником или несчастным, то мне придется пенять лишь на злой рок или на собственные оплошности, так как он предостерег меня от шага, который не принесет мне ничего, кроме вреда, и, исполнив таким образом свой долг, слагает с себя всякую ответственность; словом, если я останусь дома и устрой свою жизнь согласно его указаниям, он будет мне заботливым отцом, но ни в коем случае не станет способствовать моей гибели, поощряя к отъезду. В заключение он привел в пример моего старшего брата, которого он так же настойчиво убеждал не принимать участия в нидерландской войне, но все уговоры оказались напрасными: юношеские мечтания заставили моего брата бежать в армию, и он погиб. И хотя, закончил отец, он никогда не перестанет молиться обо мне, но берется утверждать, что, если я не откажусь от своих безумных намерений, на мне не будет благословения Божия. Придет время, когда я пожалею, что пренебрег его советом, но тогда, может статься, некому будет прийти мне на выручку.

Я видел, как в конце этой речи (она была поистине пророческой, хотя, я думаю, отец мой и сам этого не подозревал) обильные слезы заструились по лицу старика, особенно когда он заговорил о моем убитом брате; а когда батюшка сказал, что придет время раскаяния, но помочь мне уже будет некому, то от волнения голос его дрогнул, и он прошептал, что сердце его разрывается и он не может больше вымолвить ни слова.

Я был искренне растроган этой речью (да и кого бы она не тронула?) и твердо решил не думать более об отъезде в чужие края, а остаться на родине, как того желал мой отец. Но увы! Через несколько дней от моей решимости не осталось и следа: короче говоря, через несколько недель после моего разговора с отцом я во избежание новых отцовских увещаний решил бежать из дому тайком. Я сдержал пыл своего нетерпения и действовал не спеша: выбрав время, когда моя мать, как мне показалось, была в более добром расположении духа, чем обычно, я отвел ее в уголок и признался, что все мои помыслы подчинены желанию повидать далекие края, и что, если даже я и займусь каким-либо делом, у меня все равно не хватит терпения довести его до конца, и что пусть лучше отец отпустит меня добровольно, иначе я буду вынужден обойтись без его разрешения. Мне уже восемнадцать лет, сказал я, а в эти годы поздно учиться ремеслу, и если бы даже я поступил писцом к стряпчему, то знаю наперед — я убежал бы от своего патрона, не дотянув до конца обучения, и ушел в море. Но если бы матушка уговорила отца хоть единожды отпустить меня в морское путешествие; ежели жизнь в море придется мне не по душе, я вернусь домой и не уеду более; и я могу дать слово, что

удвоенным прилежанием наверстаю потерянное время.

Мои слова сильно разволновали матушку. Она сказала, что заговаривать с отцом об этом бесполезно, ибо он слишком хорошо понимает, в чем моя польза, и никогда не даст согласия на то, что послужит мне во вред. Она просто изумлена, что я еще могу думать о подобных вещах после моего разговора с отцом, который убеждал меня так мягко и с такой добротой. Конечно, если я твердо решил себя погубить, тут уже ничего не поделаешь, но я могу быть уверен, что ни она, ни отец никогда не согласятся на мою затею; сама же она несколько не желает содействовать моей гибели, и я никогда не буду вправе сказать, что моя мать потакала мне, в то время как отец был против.

Впоследствии я узнал, что хотя матушка и отказалась ходатайствовать за меня перед отцом, однако передала ему наш разговор от слова до слова. Очень озабоченный таким оборотом дела, отец сказал ей со вздохом: «Мальчик мог бы жить счастливо, оставшись на родине, но если он пустится в чужие края, он станет самым жалким, самым несчастным существом на свете. Нет, я не могу на это согласиться».

Прошел без малого год, прежде чем мне удалось вырваться на волю. В течение этого времени я упорно оставался глух ко всем предложениям заняться делом и часто пререкался с отцом и матерью, которые решительно противились тому, к чему меня столь сильно влекло. Однажды, когда я находился в Гулле, куда я попал случайно, без всякой мысли о побеге, один мой приятель, отправлявшийся в Лондон на корабле своего отца, стал уговаривать меня ехать с ним, соблазняя, как это водится

у моряков, тем, что мне ничего не будет стоить проезд. И вот, не спросившись ни у отца, ни у матери, не уведомив их ни словом и предоставив им узнать об этом как придется, не испросив ни родительского, ни Божьего благословения, не принимая в расчет ни обстоятельств, ни последствий, в недобрый — видит Бог! — час, 1 сентября 1651 года, я взшел на борт корабля, отправлявшегося в Лондон. Надо полагать, никогда несчастья и беды молодых искателей приключений не начинались так рано и не продолжались так долго, как мои. Не успел наш корабль выйти из устья Хамбера, как подул ветер, вздымая огромные, страшные волны. До тех пор я никогда не бывал в море и не могу описать, как худо пришлось моему бедному телу и как содрогалась от страха моя душа. И только тогда я всерьез задумался о том, что я натворил, и о справедливости небесной кары, постигшей меня за то, что я так бессовестно покинул отчий дом и нарушил сыновний долг. Все добрые советы моих родителей, слезы отца и мольбы матери воскресли в моей памяти, и совесть, которая в то время еще не успела окончательно очерстветь, терзала меня за пренебрежение к родительским увещаниям и за нарушение обязанностей перед Богом и отцом.

Между тем ветер крепчал, и на море разыгралась буря, которая, впрочем, не шла в сравнение с теми, что я много раз видел потом, ни даже с той, что мне пришлось увидеть несколько дней спустя. Но и этого было довольно, чтобы ошеломить меня, новичка, ничего не смыслившего в морском деле. Когда накатывалась новая волна, я ожидал, что она нас поглотит, и всякий раз, когда корабль падал вниз, как мне казалось, в пучину или бездну

морскую, я был уверен, что он уже больше не поднимется на поверхность. И в этой муке душевной я неоднократно решался и давал себе клятвы, что если Господу будет угодно сохранить на сей раз мне жизнь, если нога моя снова ступит на твердую землю, я тотчас же вернусь домой к отцу и, покуда жив, не сяду на корабль, что я последую отцовским советам и никогда более не подвергну себя подобной опасности. Теперь я понял всю справедливость рассуждений отца относительно золотой середины; для меня ясно стало, как мирно и приятно прожил он всю жизнь, никогда не подвергая себя бурям на море и невзгодам на суше, — словом, я, как некогда блудный сын, решил вернуться в родительский дом с покаянием.

Эти трезвые и благоразумные мысли не оставляли меня, покуда длилась буря, и даже некоторое время после нее; но на другое утро ветер стал стихать, волнение поулеглось, и я начал понемногу осваиваться с морем. Как бы то ни было, весь этот день я был настроен очень серьезно (тем более что еще не совсем оправился от морской болезни); но перед закатом небо прояснилось, ветер прекратился, и наступил тихий, очаровательный вечер; солнце зашло без туч и такое же ясное встало на другой день, и гладь морская при полном или почти полном безветрии, вся облитая его сиянием, представляла восхитительную картину, какой я никогда еще не видывал.

Ночью я отлично выспался, от моей морской болезни не осталось и следа, я был бодр и весел и любовался морем, которое еще вчера так бушевало и грохотало и в такое короткое время могло затихнуть и явить собою столь привлекательное

зрелище. И тут-то, словно для того чтобы изменить мое благоразумное решение, ко мне подошел приятель, сманивший меня ехать с ним, и, хлопнув меня по плечу, сказал: «Ну что, Боб, как ты себя чувствуешь после вчерашнего? Бьюсь об заклад, что ты испугался, — признавайся, ведь испугался вчера, когда задул ветерок?» — «Ветерок? Хорош ветерок! Я и представить себе не мог такой ужасной бури!» — «Бури! Ах ты, чудак! Так, по-твоему, это буря? Что ты! Это сущие пустяки! Дай нам хорошее судно да побольше простору — мы такого шквалика и не заметим. Ну, да ты еще совсем неопытный моряк, Боб. Пойдем-ка лучше сварим пуншу и забудем об этом. Взгляни, какой чудесный нынче день!» Чтоб сократить эту грустную часть моей повести, скажу, что дальше пошло, как положено у моряков: сварили пунш, я порядком охмелел и потопил в разгуде той ночи все мое раскаяние, все размышления о прошлом моем поведении и все мои благие решения относительно будущего. Словом, как только на море воцарилась тишь, как только вместе с бурей улеглись мои взбудораженные чувства и прошел страх утонуть в морской пучине, так мысли мои повернули в прежнее русло, и все клятвы, все обещания, которые я давал себе в часы страданий, были позабыты. Правда, порой на меня находило просветление, здравые мысли еще пытались, так сказать, воротиться ко мне, но я гнал их прочь, боролся с ними, словно с приступами болезни, и при помощи пьянства и веселой компании скоро восторжествовал над этими припадками, как я их называл: в какие-нибудь пять-шесть дней я одержал столь полную победу над своей совестью, какой только может пожелать себе юнец, решившийся не